# Ленинградская поэма

***I
Я как рубеж запомню вечер:
декабрь, безогненная мгла,
я хлеб в руке домой несла,
и вдруг соседка мне навстречу.
— Сменяй на платье,— говорит,—
менять не хочешь — дай по дружбе.
Десятый день, как дочь лежит.
Не хороню. Ей гробик нужен.
Его за хлеб сколотят нам.
Отдай. Ведь ты сама рожала…—
И я сказала: — Не отдам.—
И бедный ломоть крепче сжала.
— Отдай,— она просила,— ты
сама ребенка хоронила.
Я принесла тогда цветы,
чтоб ты украсила могилу.—
…Как будто на краю земли,
одни, во мгле, в жестокой схватке,
две женщины, мы рядом шли,
две матери, две ленинградки.
И, одержимая, она
молила долго, горько, робко.
И сил хватило у меня
не уступить мой хлеб на гробик.
И сил хватило — привести
ее к себе, шепнув угрюмо:
— На, съешь кусочек, съешь… прости!
Мне для живых не жаль — не думай.—
…Прожив декабрь, январь, февраль,
я повторяю с дрожью счастья:
мне ничего живым не жаль —
ни слез, ни радости, ни страсти.
Перед лицом твоим, Война,
я поднимаю клятву эту,
как вечной жизни эстафету,
что мне друзьями вручена.
Их множество — друзей моих,
друзей родного Ленинграда.
О, мы задохлись бы без них
в мучительном кольце блокады.
II
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
III
О да — иначе не могли
ни те бойцы, ни те шоферы,
когда грузовики вели
по озеру в голодный город.
Холодный ровный свет луны,
снега сияют исступленно,
и со стеклянной вышины
врагу отчетливо видны
внизу идущие колонны.
И воет, воет небосвод,
и свищет воздух, и скрежещет,
под бомбами ломаясь, лед,
и озеро в воронки плещет.
Но вражеской бомбежки хуже,
еще мучительней и злей —
сорокаградусная стужа,
владычащая на земле.
Казалось — солнце не взойдет.
Навеки ночь в застывших звездах,
навеки лунный снег, и лед,
и голубой свистящий воздух.
Казалось, что конец земли…
Но сквозь остывшую планету
на Ленинград машины шли:
он жив еще. Он рядом где-то.
На Ленинград, на Ленинград!
Там на два дня осталось хлеба,
там матери под темным небом
толпой у булочной стоят,
и дрогнут, и молчат, и ждут,
прислушиваются тревожно:
— К заре, сказали, привезут…
— Гражданочки, держаться можно…—
И было так: на всем ходу
машина задняя осела.
Шофер вскочил, шофер на льду.
— Ну, так и есть — мотор заело.
Ремонт на пять минут, пустяк.
Поломка эта — не угроза,
да рук не разогнуть никак:
их на руле свело морозом.
Чуть разогнешь — опять сведет.
Стоять? А хлеб? Других дождаться?
А хлеб — две тонны? Он спасет
шестнадцать тысяч ленинградцев.—
И вот — в бензине руки он
смочил, поджег их от мотора,
и быстро двинулся ремонт
в пылающих руках шофера.
Вперед! Как ноют волдыри,
примерзли к варежкам ладони.
Но он доставит хлеб, пригонит
к хлебопекарне до зари.
Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре —
сто двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам.
…О, мы познали в декабре —
не зря «священным даром» назван
обычный хлеб, и тяжкий грех —
хотя бы крошку бросить наземь:
таким людским страданьем он,
такой большой любовью братской
для нас отныне освящен,
наш хлеб насущный, ленинградский.
IV
Дорогой жизни шел к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
страшней и радостней дороги.
И я навек тобой горда,
сестра моя, москвичка Маша,
за твой февральский путь сюда,
в блокаду к нам, дорогой нашей.
Золотоглаза и строга,
как прутик, тоненькая станом,
в огромных русских сапогах,
в чужом тулупчике, с наганом,—
и ты рвалась сквозь смерть и лед,
как все, тревогой одержима,—
моя отчизна, мой народ,
великодушный и любимый.
И ты вела машину к нам,
подарков полную до края.
Ты знала —я теперь одна,
мой муж погиб, я голодаю.
Но то же, то же, что со мной,
со всеми сделала блокада.
И для тебя слились в одно
и я и горе Ленинграда.
И, ночью плача за меня,
ты забирала на рассветах
в освобожденных деревнях
посылки, письма и приветы.
Записывала: «Не забыть:
деревня Хохрино. Петровы.
Зайти на Мойку сто один
к родным. Сказать, что все здоровы,
что Митю долго мучил враг,
но мальчик жив, хоть очень
слабый…»
О страшном плене до утра
тебе рассказывали бабы
и лук сбирали по дворам,
в холодных, разоренных хатах:
— На, питерцам свезешь, сестра.
Проси прощенья — чем богаты…—
И ты рвалась — вперед, вперед,
как луч, с неодолимой силой.
Моя отчизна, мой народ,
родная кровь моя,— спасибо!
V
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
VI
Вот так, исполнены любви,
из-за кольца, из тьмы разлуки
друзья твердили нам: «Живи!»,
друзья протягивали руки.
Оледеневшие, в огне,
в крови, пронизанные светом,
они вручили вам и мне
единой жизни эстафету.
Безмерно счастие мое.
Спокойно говорю в ответ им:
— Друзья, мы приняли ее,
мы держим вашу эстафету.
Мы с ней прошли сквозь дни зимы.
В давящей мгле ее терзаний
всей силой сердца жили мы,
всем светом творческих дерзаний.
Да, мы не скроем: в эти дни
мы ели землю, клей, ремни;
но, съев похлебку из ремней,
вставал к станку упрямый мастер,
чтобы точить орудий части,
необходимые войне.
Но он точил, пока рука
могла производить движенья.
И если падал — у станка,
как падает солдат в сраженье.
И люди слушали стихи,
как никогда,— с глубокой верой,
в квартирах черных, как пещеры,
у репродукторов глухих.
И обмерзающей рукой,
перед коптилкой, в стуже адской,
гравировал гравер седой
особый орден — ленинградский.
Колючей проволокой он,
как будто бы венцом терновым,
кругом — по краю — обведен,
блокады символом суровым.
В кольце, плечом к плечу, втроем —
ребенок, женщина, мужчина,
под бомбами, как под дождем,
стоят, глаза к зениту вскинув.
И надпись сердцу дорога,—
она гласит не о награде,
она спокойна и строга:
«Я жил зимою в Ленинграде».
Так дрались мы за рубежи
твои, возлюбленная Жизнь!
И я, как вы,— упряма, зла,—
за них сражалась, как умела.
Душа, крепясь, превозмогла
предательскую немощь тела.
И я утрату понесла.
К ней не притронусь даже словом —
такая боль… И я смогла,
как вы, подняться к жизни снова.
Затем, чтоб вновь и вновь сражаться
за жизнь.
Носитель смерти, враг —
опять над каждым ленинградцем
заносит кованый кулак.
Но, не волнуясь, не боясь,
гляжу в глаза грядущим схваткам:
ведь ты со мной, страна моя,
и я недаром — ленинградка.
Так, с эстафетой вечной жизни,
тобой врученною, отчизна,
иду с тобой путем единым,
во имя мира твоего,
во имя будущего сына
и светлой песни для него.
Для дальней полночи счастливой
ее, заветную мою,
сложила я нетерпеливо
сейчас, в блокаде и в бою.
Не за нее ль идет война?
Не за нее ли ленинградцам
еще бороться, и мужаться,
и мстить без меры? Вот она:
— Здравствуй, крестник
красных командиров,
милый вестник,
вестник мира…
Сны тебе спокойные приснятся
битвы стихли на земле ночной.
Люди неба больше не боятся,
неба, озаренного луной.
В синей-синей глубине эфира
молодые облака плывут.
Над могилой красных командиров
мудрые терновники цветут.
Ты проснешься на земле цветущей,
вставшей не для боя — для труда.
Ты услышишь ласточек поющих:
ласточки
вернулись в города.
Гнезда вьют они — и не боятся!
Вьют в стене пробитой, под окном:
крепче будет гнездышко держаться,
люди больше не покинут дом.
Так чиста теперь людская радость,
точно к миру прикоснулась вновь.
Здравствуй, сын мой, жизнь моя, награда,
здравствуй, победившая любовь!***